

Маленькие эссе

Счастье

Русское слово «счастье» сливается по своему значению то с удачей, то с радостью. Первое несколько устарело, оно сохранилось в поговорках (счастлив в картах – несчастлив в любви и т.д.). Несколько меньше – в отрицательной форме (несчастье – большая неудача, неудача с роковыми, непоправимыми последствиями). Но в положительном смысле слова «счастье» на первое место выдвинулось переживание, связанное с удачей, – радость, и это подавило первоначальное значение.

Можно быть счастливым беспричинно. Можно быть счастливым, несмотря на неудачи, даже несчастья.

В развитии семантики слова «счастье» сказались стихийная мудрость языка: обстоятельства могут сделать счастливого человека несчастным, но есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не умеют быть счастливыми. И величайшая удача в жизни – это способность к радости. Глубокой, устойчивой радости. Уходящей на время вглубь и всплывающей вновь. Что бы ее ни вызвало!

Ребенок всегда способен к счастью и счастлив, когда играет, когда чувствует любовь матери и любит ее. А многие большие люди слишком озабочены для счастья. Они думают о завтрашнем дне (или о вчерашнем), о том, какие несчастья были с ними или могут быть, каких внешних условий счастья им не хватает, с утра до вечера делают работу, которая сама по себе не радует их, лишь бы не умереть под забором, – и проходят мимо счастья, которое всё в настоящем, в сегодняшнем дне, и не в вещах, а в нашей способности откликаться вещам – простым, естественным, дарованным: небу, дереву, человеку.

Многие могут испытать вкус счастья, только выпив и заставив уснуть заботы вместе с разумом. Многие вынуждены пить, чтобы заглушить голос совести или чувство страха. Вольному – воля, а пьяному – рай.

Для счастья нужно очень немного. Любить что-то больше самого себя, видеть или прикасаться к нему и забыть обо всем остальном. Внутренняя трудность счастья в том, что одна любовь сталкивается с другой (любовь к семье и – к правде, любовь к родине и – к свободе). Внешняя – в том, чтобы освободить свой ум от созерцания клетки пространства и времени, в которую мы заперты. На помощь любви приходят опьянение, сон и игра. Какие-то волны цвета, звука, пространственных и логических форм всегда нас окружают и охватывают: играя, дети строят из них гармонические ряды и в этом царстве свободы становятся самими собой, находят свое счастье.

Взрослые могут поступить так же, но им многое мешает. Во-первых, мешает несерьезное отношение к игре. Дети в своих играх подражают высшему, на которое можно показать пальцем, – взрослым. Положение взрослых труднее. На высшее, образом и подобием которого им хочется стать, пальцем не покажешь; и многие думают, что стремиться к тому, чего нет, несерьезно; серьезно они относятся только к тому, что необходимо: есть, пить, одеваться, иметь не слишком плохое правительство и т.д. Игры взрослых людей – только разминка, перекур, отдых. Так, во всяком случае, думают серьезные люди. Правда, большинство людей несерьезно: новости спорта волнуют их больше, чем политические события. Но это считается признаком глупости, – да так оно, пожалуй, и есть.

Необходимое подчиняет своему ритму, превращает в раба, в программированную машину. Нельзя оставаться самим собой, занимаясь необходимым больше, чем это действительно необходимо, – отдавая себя всегда достижению практической цели. Опыт показывает, что никакая цель не оправдывает средств, если по пути к ней человек теряет себя. Достигнутое оказывается пустым и бездушным, не радует и не удовлетворяет.

Но спорт и другие игры взрослых людей только чуть-чуть шевелят душу. Только в некоторых особых играх взрослый, как ребенок, чувствует себя образом и подобием чего-то высшего, свободным существом, царем вселенной. Такой игрой были религиозные обряды. Такие игры – искусство, любовь; для математиков, чувствующих форму числовых символов, такой игрой может быть их наука и т.д. Эти особые игры взрослых – подражание миру, которого нет в пространстве и времени, миру, которого мы не знаем, – быть может, создание нового. Они поднимают над будничным, дают чувство духовной бесконечности, они создали человека из животного и каждый день вновь создают его из праха.

Наши близкие родственники – обезьяны – более расположены к игре, чем другие животные: они превратили, например, в игру половые отношения (солидные млекопитающие любят только в период течки). Норберт Винер считает, что игра в шифровку и дешифровку дала толчок к развитию языка. Этнографы открыли, что примитивные племена приручают животных ради забавы и лишь гораздо позже домашние животные были использованы. А то, что математики занимаются своей наукой, не думая о потребностях производства, достаточно хорошо известно. Но ученые были бы обижены, если бы их занятие назвали игрой. Надо найти особое слово для высших игр взрослых людей.

Раньше, когда была религия, говорили: «святое искусство», «святая любовь». Таким образом, некоторым играм приписывалось мистическое значение, и это давало им положение в свете. На языке науки это положение трудно описать. Наука расшатала религию, но не может создать систему ценностей взамен религиозной. Фрейд – почтенный ученый, но он не способен заменить Амура. Прилагательное «научный» увеличивает ценность только явлений науки; «научное искусство», «научная любовь» – нелепые сочетания слов. Скорее имеет смысл сочетание «изящная теория». Но может ли искусство стать мерой всех ценностей, в том числе и научных, мерой, которой была религия? Без нее человеческая душа не может выбраться из хаоса.

Счастью взрослых мешают также забота, нечистая совесть, страх. «Храбрый умирает однажды, трус – тысячу раз». Из страха перед страданиями человек часто подавляет и умерщвляет свою способность откликаться на поэтическое чувство; чтобы не потерпеть поражения в борьбе за необходимые блага, воспитывает в себе сухость и жестокость. «Бойтесь первого движения души, – учил Талейран, – оно обычно самое благородное». Нечистая совесть заставляет замыкать сердце, чтобы, заглянув в него, не испытывать боли. Но «хрупкое растение счастья» (Стендаль) не может вырасти на окаменевшей почве. Жюльен Сорель мог сделать карьеру Растиньяка, но предпочел положить голову под нож гильотины, чем еще раз солгать: маска начинала прирастать к лицу. Невелика радость – стать счастливецом в глазах мещан – и дрянью в своих собственных. Иногда некрасиво не только быть знаменитым, но даже остаться в живых. И в камере, в недолгие дни до казни, Жюльен, быть может, испытал больше счастья, чем выбрав другой жребий и став супругом маркизы де ла Моль, вельможей и подлецом.

Стендаль был милостив к Сорелю и прислал к нему в камеру мадам де Реналь. В предельных ситуациях так не бывает.

**...Старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Б.Пастернак**

Боги – на стороне победителей, Катон – на стороне побежденных. Здесь разговор о счастье вообще теряет смысл. Если остается только выбор между смертью и мучениями совести, стремление к счастью заходит в тупик, нужны другие принципы, чтобы сделать этот выбор разумным. Счастье не является высшим принципом, которому можно подчинить всю человеческую деятельность, и Милль прав: несчастный человек выше счастливой свиньи. Но надо ясно понять, что это значит.

Современное искусство охотно – даже слишком охотно – изображает неврастеников, душевнобольных, инстинктивно предпочитая их нормальным мещанам. Однако свинья не счастлива, она только сыта и довольна; это – гармония со средой, основанная на безличности, на отсутствии самостоятельного проекта. В подсознании мещанина дремлют подавленные порывы; вырываясь наружу, они разрушают карточный домик мещанского счастья. В психозах, как в раковой опухоли, разрастается искаленная человеческая сущность, в болезненной раздражительности – способность к более острым впечатлениям, чем те, которые необходимы для добропорядочной службы. Без высокой чувствительности человек не знает ни счастья, ни несчастья. Поэтому способность к несчастью – примета высокоразвитого человеческого существа: поэта, художника, артиста. Но само по себе несчастье – состояние тоски по идеалу, первый шаг к нему, и только. Это состояние еще наполовину рабское, наполовину навязанное жизнью, а не то, которое человек должен искать, не идеал.

Счастье – не высочайшая, но достаточно высокая ценность. Способность к счастью – признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей все, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной (второстепенной) цели, приняв ее за истинную (главную), а главную упустил. Поэтому утрата способности к счастью, характерная для декаданса, – это индикатор душевного хаоса, разброда и шатания ценностей, неспособности найти в жизни главную линию. С высшей, надличной точки зрения счастье – не цель, но это средство, без которого трудно обойтись: счастливый человек делится с окружающими своим счастьем, неврастеник – своими больными нервами. Вопреки теории Адлера, согласно которой реформатором движет воля к власти, а воля к власти – компенсация неспособности к личному счастью, в жизни часто бывает наоборот. Радищев, Рылеев, Герцен умели быть счастливыми и были счастливы в любви (молодой Герцен). Но счастье, которое они давали одной или немногим и которое они от немногих получали, не было полным, потому что на него падала тень угрюмой и тяжелой жизни других. Счастье живет только в обмене, в передаче от одного другому. Им нельзя владеть, как домом или поместьем, обособившись от других. Только давая, не спрашивая взамен, можно вызвать его к жизни. Только рискуя потерять счастье, можно умножить его.

Схваченное в руки, зажатое в кулак, спрятанное от других, оно исчезает. Достоевский об этом писал: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя Никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, т.е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормального человека». Счастье – не цель, а скорее средство, без которого почти так же трудно обойтись, как без рук. Добро не укладывается полностью в рамки счастья, но вне их оно не может быть осуществлено.

Христос принял крестные муки, но Он не искал их, не носил вериг, не спал на гвоздях; Он любил своих учеников и с радостью беседовал с ними. Он сказал: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А дети чаще, чем взрослые, счастливы – и меньше взрослых боятся утратить счастье.

Очень короткая философия

1. Каждый видит и слышит вещи. Каждый может предположить за вещами какие-то механизмы, управляющие движением: проделки духов, «силы» классической физики или статистические ансамбли электронов. Но есть еще что-то, стоящее по ту сторону всех вещей, домовых, сил и структур. То, что рождает вещи и уравнивает их.

Есть какая-то мировая связь, и человек может подключиться к ней, и когда он подключился, то все остальное пусть идет из рук вон плохо – это неважно; а когда он не подключился, то все остальное может быть очень хорошо, но это тоже неважно.

2. В человеке есть приемник (способность подключиться к цепи) и передатчик (способность действовать).

Приемник подслушивает, если он в порядке, ритм Целого. Тогда появляется желание выразить подслушанное каким-то частным действием. Крестьянка выражает себя тем, что выкормила ребенка; Микеланджело – Сикстинской капеллой. Но оба они прежде подслушали, приняли волну откуда-то. Без этого человеку нечего сказать. Сам по себе он ничто. Женщина родит, но ребенок вырастает свиньей. Художник напишет картину, но ее забудут.

Прежде всего важно, чтобы хорошо работал приемник. Тогда уже будет забота, как ответить, как передать принятое дальше. Можно и помолчать. Есть немые натуры, спящие красавицы, вокруг которых едва осязаемое облако чего-то хорошего. В этом облаке легче дышать. А то, что говорят люди, не способные принять, один шум, одни помехи, шипение испорченного механизма.

3. Есть много способов настраивать приемник: войти в облако вокруг человека, подключенного к цепи. Войти в его след (в слове, в музыке, в картине). Включиться в цепь, прошедшую сквозь природу. Сблизиться с другим человеком, таким же, как ты. Иногда вдвоем само собой выходит то, что никак не дается поодиночке.

Ребенок растет в облаке нежности, созданном близостью, не понимая, что это она настраивает его, и торопится вырваться, уйти подальше от маминой юбки. Рано или поздно дело сделано – он свободен. Некоторое время приемник по инерции продолжает работать (инерция иногда тоже хорошая вещь). Потом настройка сбивается. Раз, два удастся что-то подвертеть, третий раз все идет насмарку. Вместо музыки слышен только собственный шум. И сквозь него – пустота. Чувство пустоты как физическая боль. Это – сигнал. Можно заглушить его, положить подушку на будильник, принять пирамидон. Но пирамидон не вылечит больной зуб, надо сверлить его и положить пломбу. И пустоту в душе тоже нельзя залить. Прохудившуюся душу надо снова сделать цельной. А для этого есть одно лечение – связать ее с Целым. Надо подключиться к цепи.

Бог и ничто

Что я знаю о Боге? То, что этот образ приходит в голову над пустотой: последним, когда падаешь в нее, и первым, когда возвращаешься назад, еще не различая ничего: где субъект и где объект, где факт и где ритм теней... Мейстер Экхарт из любви к Богу сбрасывает Его в Ничто. Отпадает мертвое, придуманное, а живой возвращается к живому и рождается заново, как в душе Иисуса. Остальное – иконы. Живой Бог – тот, кто воскресает из Ничего. Вера, которая не разрешает сбрасывать Бога в Ничто, делает икону кумиром, и атеизм следует за нею, как тень.

Каждая вера чтит свой образ Божий, свои иконы. Но икона (в камне или в слове) – только подобие, «сеть, которую надо отбросить, когда поймана рыба» (китайская поговорка). Икона прозрачна. Она не застилает вечного света, а только смягчает его, делает выносимым для глаза.

Подлинное нельзя высказать. Все изреченное – только подобия. Дело совсем не в том, чтобы

труп вырвался из могилы и вознесся на небо (то самое, которое взломал Коперник?). То, что произошло с Христом, было гораздо большим чудом. Его смерть вызвала в душах учеников обвал, который длится до сих пор, и Христос тысячу и тысячу раз воскресал в человеческом сердце. Этот сдвиг, этот обвал мертвых пластов в сердце, это торжество жизни и есть величайшее чудо во вселенной.

Само слово Бог – подобие. Оно так же не имеет прямого смысла, как и другие слова любви. Если бы любимая в самом деле стала солнцем или звездой, кому это нужно? То, что высказывается словами, не равенство любимой звезде, а любовь. И Бог – это не равенство чему-то другому. Это слово любви, сказанное жизни. Слабый человеческий отклик из пустоты, взрытой познанием. Познанием Целого.

Реабилитация черта

Леониду Ефимовичу Пинскому – с любовью и благодарностью.

Художники придают ангелам сходство с женщинами и детьми; черта рисуют мужчиной. Тут есть какая-то правда. Черт – мужчина. На своем месте он так же хорош, как Гармодий, сразивший тирана. Если человечество не может состоять из одних женщин и детей, то идеалы человечества тоже нельзя свести к ангельским ликам.

Говорят, что черти безобразны. Это – условность иконы. Врубель разрушил ее, и мы знаем: демон прекрасен, когда лицо его обращено к Властелину. Черт – ангел сопротивления. Но этот ангел становится безобразным, когда сопротивляться нечему. Когда нет ни деспота, ни раба, ни отдельного существа, ни вселенной, когда падают все различия, все плавится, теряет материю, становится светом. Черт не хочет плавиться, он тугоплавок и в белом свете любви дымит багровым и черным.

Час демона начинается в сумерках. Мир остывает и снова распадается на части. Сама жизнь смотрит тогда на человека двумя разными лицами. И нельзя одинаково глядеть на машину и на Бога, одинаково отвечать на принуждение и любовь.

«Мудрый подобен зеркалу, – говорил Чжуанцзы. – Оно отражает тьму вещей, оставаясь ясным и незамутненным».

Ибо есть невидимая ось, вокруг которой все движется: память о белом накале. Невидимый позвоночный столб связывает организм, не сковывая его, не мешая откликаться жизни, не мешая всплывать из глубины той маске, которой требует роль. Я помню человека, в душе которого рядом жили князь Мышкин Достоевского и франсовский Люцифер. Никакого внешнего порядка не было. Но Люцифер не пытался захватить первое место. Было стихийное чувство жизни, и оно подсказывало, когда говорить князю Льву Николаевичу и когда – бесу гордыни...

Человек должен быть мужчиной по отношению к власти и женщиной по отношению к Богу. Мы по большей части наоборот: мужчины по отношению к Богу и женщины по отношению к власти. Иногда – капризные женщины, склонные к гаремным шалостям, интригам и сплетням...

Три клинических случая

Были у дедов сапоги. Не простые – семимильные сапоги. Сами несли через войну, разруху, террор. Думали деды – износу сапогам не будет. Но не тут-то было. Начала история разувать дедов. Дергает и дергает за каблук. Деды сопротивляются, не хотят разуваться, но обутыми быть никак не удастся: пятка в голенище застряла, пальцы едва касаются подошв, а дальше не лезут. Не то ноги распухли, не то кожа ссохлась.

Плюнуть бы на сапоги, да как-то страшно на старости лет по-мальчишески пойти босиком. Спотыкаются старики, путаются в полуспущенных голенищах, падают. Нервы совсем расходились, что ни день – скандал.

Отдышавшись, деды смеются друг над другом. Те, у кого сапоги слезли наполовину, тычут пальцами в консерваторов, разувшихся только на одну треть. А те, кто освободился на три четверти, за глаза называют друг друга ортодоксами.

Это клинический случай номер один – маразм полуснятого сапога.

У отцов была другая игрушка: въехать в Глупов на белом коне, сжечь два-три учреждения и место, на котором они стояли, посыпать солью. Но торжественный въезд в Глупов был отменен. Пришлось возвращаться в вагоне третьего класса, рядовыми советскими гражданами.

Забились отцы в крысиные норки, ходят на службу, а в душе скачет белый конь, не дает покоя, по ночам снится, проклятый. Мучает роковой вопрос: человек я или тварь дрожащая? Поймут ли грядущие поколения весь мрак, весь ужас нашего существования?..

Напившись, отцы обвиняют друг друга, кто больше продался ответственным работникам, и бьют посуду. Идеал белого коня постепенно тускнеет, отодвигается на второй план, становится чем-то вроде огурца: закуской к водке.

Это клинический случай номер два – маразм не выведенного из конюшни белого коня.

Третий случай – с малолетними.

Деды пьют валидол, потому что не достроили хрустальный дворец. Отцы пьют водку, потому что не разрушили хрустальный дворец. Мальчики лизут сивуху или жрут барбамил, потому что им на все плевать.

«Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы» (Достоевский).

Это клинический случай номер три – маразм дерьма, возведенного в идеал, маразм как чистое (и отчасти даже святое) искусство.

К теории зари

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...
Н.Гумилев

День отделяет друг от друга предметы, цвета, даже мысли. Ночь все смешивает. Зелень сосен борется с ней, становится напряженной, потом сдается, сереет, чернеет. Все становится черным: из черноты выступают звезды...

В городе мы их не видим. Пока не захочется спать – живем в искусственно растянутом дне. И кажется, что все можно растянуть: молодость – на всю жизнь, прогресс – на все эпохи.

Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я!

Курортница, встретившая знаменитого человека (К.Е.Ворошилова), воскликнула: «А я помню вас молодым!» Знаменитый человек ответил: «А разве я сейчас старый?» Старость кажется нам некрасивой, почти неприличной: говорить о ней неудобно, признаваться – стыдно.

Это не всегда было так. Иконописцы охотнее изображали старцев, чем юношей. Старики, нарисованные Нестеровым или Рерихом, согнуты годами, с трудом передвигают ноги, но совсем не хочется омолодить их. В них «душа сбылась» (по слову Марины Цветаевой), и страшно испортить этот драгоценный плод, что-то в нем исправляя, переделывая по-своему работу многих лет, зим, весен, осеней, восходов и закатов... Я не хочу сказать, что старики и старухи вообще прекраснее молодых (такого мнения, впрочем, был У.Уитмен), но самое прекрасное в человеке копится медленно, и если удастся накопить его хоть к старости, оно награждает за все потери.

Самого прекрасного, самого главного в жизни нельзя схватить. И потому не так важно, что годы уменьшают и уменьшают возможность схватывать, присваивать, вкушать. Чем больше человек открыт для потерь, для старости, для смерти, тем легче близость к жизни. Та самая близость, которая в любовном языке XX века заменила слово «обладание». Ибо нельзя присвоить себе череду утра и вечера, света и тьмы. Нельзя выбрать кусок повкуснее и отбросить другие. Бесплезно огораживать сотню гектаров леса, километры пляжа, заводить охрану, собак... Все это только мешает. Мешает войти в поток и идти вместе с ним.

Все течет, все смыкается в круг. День – ученый и строитель. Он разбирает мир на кирпичики и складывает из них свои постройки. Ночь – созерцатель, погружившийся в темноту единого или в призрачный свет его обликов, отражений. А утро и вечер – художники, всегда что-то подмалевывающие своими длинными кистями, всегда создающие новые миры – между ночью и днем, между днем и ночью. В зорях – утренней и вечерней – есть какая-то особая прелесть. На свет – как на Бога христиан – можно смотреть простым человеческим глазом только в эти часы, когда он рождается или умирает. И странное дело – умирание солнца, света, цвета так же прекрасно, как рождение. Каждый вечер дает нам в этом отношении мягкий урок. А тех, кто не понял его, доучивает старость —

**... Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера...**

Когда солнце склоняется к морю и перестает обогревать спины, отдыхающие уходят. Едва ли один из двадцати остается посмотреть, как огромный красный шар спускается в зеленую воду. Остальные идут домой. По дороге они говорят: какой закат! Нет, посмотрите – вы этого в Москве не увидите! – и уходят. Когда у красоты очень большой размах, очень широкий шаг, с ней трудно идти в ногу. Или, если хотите, стоять в ногу. Нужен особый диапазон в приемнике впечатлений. Он редко бывает исправным. Средний пляжник способен переваривать красоту только на гарнир, как сопровождение к своим здоровым и разумным занятиям – купанью, солнечным ваннам, бадминтону, картам. Он не слушает шорох прибоя, а включает транзистор. Один на один с первозданной, великой, бескрайней красотой – средний человек теряется.

Совершенно пустое побережье на заре. Даже немногие, смотревшие на закат, уходят. Заря беспредметна. Полоса моря, полоса неба, по ней небрежно, словно обезьяна хвостом нашвыряла, – кучки облаков. Неясно, на что смотреть. Непонятно, от чего захватывает дух. Целое – самое прекрасное в мире – складывается из ничего. И только два-три человека из тысячи с радостью смотрят в эту великую пустоту.

Слово «логос», пущенное в философский обиход Гераклитом, имеет оттенок смысла, для большинства греков второстепенный: стопа в стихе, ритмическая единица, ритмы. И, может

быть, Фауст, смущенный переводом первого стиха Евангелия, искал именно этот потерянный смысл: в начале был ритм. Как бы его ни называли – логос, вечно живой огонь, Дао, – говорили о нем, когда пытались одним словом высказать Целое. Сперва ритм Целого, потом отдельные предметы. Когда на старых китайских картинах (которые сейчас рвут и сжигают хунвейбины) видишь мудреца, созерцающего цаплю, или туман в горах, или водопад, – это не ученый, ищущий знаний о цаплях и водопадах. Мудрец и в цаплях, и в тумане, и в заре ищет одно: ритм Целого, Дао. И когда его схватывает тот ритм, все неразрешимые вопросы, над которыми бьются люди, становятся легче пепла...

Так что нам делать с розовой зарей? Ничего не надо делать. Надо не мешать ей делать что-то очень нужное с нами...

Коан

Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы, тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?

Тут общего ответа нет. Надо решать эту загадку каждый день, каждый час, всю жизнь.

Прямота

Я различу великую прямую,
Следя за вашей дерзкой кривизной...

Когда облака рассеиваются, пилообразный хребет высовывается в складке мягких прибрежных гор. На него ложатся лучи заката, и становится видно, как свет, углубляясь, раскрывает в твердом и резком текучесть и мягкость. И, подчиняясь нежной прямоте света, скалы отдаются брачному танцу, становятся гибкими, теряют свою нескладную, мальчишескую ломанность и растворяются в сумерках...

Не знать, когда, зачем, как скоро...

Незнание – полноты сестра.

Немые – люди, а не горы.

Ведь духу говорит гора

Без внятности членораздельной,

Но с целым Богом глыбой цельной.

Хребет безглазый и безрукий

Всецел. И возглашает храм,

Что смерть – великая наука

Непостижимым языкам...

Прямота в природе всегда поражает. По-настоящему она дается только свету. Все остальное стремится к прямизне, но она отпускается строгой мерой, и те, кто забывают или не знают ее, падают. Так молодые горы, пытаясь напрямик вырваться из тесноты, срываются в хаос изломов и снова застывают. Пока стихии, послушные свету, – вода и воздух – постепенно сгладят острые углы и приучат камень к порядку застывшей мертвой зыби.

Растения, начав жизнь в воде, сперва не стремились к прямоте. Кратчайшей для них была кривая волны. До сих пор в реликтовых соснах Пицунды сохранился мягкий изгиб водорослей. Этим они чем-то напоминали ящеров, вылезших на сушу, но еще пахнувших морем в постройке тела.

Потом возникли новые породы, угадавшие, что в воздухе они свободны прямо расти навстречу прямому солнечному лучу. Подняться – и развернуть навстречу ему свою крону. И затихнуть, раскинувшись вкось и вправо и влево свободными волнами зеленой плоти.

Так же скупно пользуются прямой птицы, выстраиваясь клиньями, когда приходит пора перелета. Остальное время они не пытаются строить жизнь по прямой.

**Лесная глушь. Огонь во тьме недоброй.
Лиловых теней тихая гроза.
Моей души праматерь и прообраз,
Моя душа глядит в мои глаза.
Лиловый морок на горбатом скате,
И это небо с этой глубиной... –
Моей души прообраз и праматерь,
Как в зеркале, встает передо мной.
Неясных форм причудливая кладка,
В самом себе запутавшийся лес,
И вдруг, как проблеск высшего порядка,
Грань океана и сосны отвес.**

Заговорив о птицах, я невольно коснулся другой темы. В каждом царстве природы есть своя мера соборности. Горы сами собой собираются в хребты, воды – в моря, и чем они больше соберутся вместе, тем прекраснее. А на закате, на заре, лучи солнца связывают красноватыми бликами, пересекающими предметы, всё, что днем разделилось: небо, облака, горы, леса, море. Пока предметы, спутанные длинными тенями, не сливаются в единую ночь.

**Бог – это свет.
Но кто, кто смог
Понять всей дрожью, всей тревогой,
Что свет разлитый – это Бог
И слушаться его, как Бога?
Как ветра – легкий лепесток,
Как вёсен – молодые кроны,
Как пальцев трепетных – смычок.
Как дали – колокольных звонов.
Как перед Богом – трепетать,
Перед тишайшим, перед кротким,
И стекленеть, как моря гладь,
И розоветь, как в море лодка.
Повить разорванную нить,
Сплетать и снова делать целой,
И, удлиняясь, заходить
За мир, за вещи, за пределы...**

Деревья и по отдельности легко отвечают лучу. Их не нужно собирать для этого в громады. Достаточно листка, цветка, чтобы ответ был законченным и полным – таким, как очень редко удается мелким планам земли и воды (капле, попавшей под луч, или кристаллу). Но в роще, в перелеске, лесе есть своя, дополнительная прелесть. Дремучий лес (за которым не видно отдельного дерева) прекраснее любой самой стройной сосны. И, собранные в лес, деревья как равные вступают в игру закатных светов, не уступая по мощи самым крупным соборам – горам, морю.

**Сверкнула береза. Задела рябина
Высокой сосны золотую струну.
Собрать свою душу, собрать воедино,**

**Как корни и ветки собрались в сосну.
На зелени – желтые, красные пятна,
На медных столбах – ярко-синий навес.
Собрать свою душу – собрать необъятность,
Как свет и стволы собираются в лес.
Призыв к воскресенью, прекрасный и строгий...
Единства воскресшего грянувший хор.
Собрать свою душу – собрать ее в Бога,
Как камни и блески собрались в собор.**
3. Миркина

С животными дело хуже. Они бывают хороши, даже очень (олени, лани), но только поодиночке или небольшими группами. Стадность ничего не прибавляет к их красоте. И птичьи стаи хороши, пока невелики; птичьи базары так же безобразны, как и человеческие. Чем покорнее, тем огромнее. Эльбрус только прекраснее оттого, что он очень большой; море – что оно еще больше; небо – что оно совсем без границ. И деревья, хотя они по законам необходимости меньше гор, никогда не проигрывают, разрастаясь ввысь и ширь. Но у животных есть верхний предел, за которым красоты больше нет; и вслед за красотой исчезает целесообразность.

Первые ящеры, вымахавшие в рост тогдашних (тоже гигантских) папоротников, вымерли. Постепенно установилась норма для наземных животных, даже самых крупных, – такая, чтобы они могли жить в лесу, как раньше в море.

«Чертежник пустыни, арабских песков геометр» строит мир по законам красоты. То, что само не может собраться в единство, должно жить в порах других единств, не вылезая из моря, не поднимаясь над вершинами деревьев. Человек не составляет здесь исключения. Он должен оставаться ниже гор или сам стать как горы и небо.